

ВИТАЛИЙ
ШАРИЯ

АБХАЗСКИЕ
ЯБЛЮКИ





ВИТАЛИЙ
ШАРИЯ

**АБХАЗСКИЕ
ЯБЛОКИ**

ПОВЕСТЬ



ИЗДАТЕЛЬСТВО «АЛАШАРА»
СУХУМИ — 1986

Шария В. В.

Абхазские яблоки: Повесть. — Сухуми:
Алашара, 1986. — 62 с.

Это — первая книга Виталия Шария, участника VIII Всесоюзного совещания молодых писателей. В ней переплетаются прошлое и сегодняшний день, раздумья людей, подводящих итоги жизненного пути, и современные социально-нравственные проблемы. В центре повествования — образ абхазской крестьянки, которая всей своей жизнью утверждает в качестве основ человеческого бытия честность, благородство, душевную щедрость.

Дождь все никак не мог решить, идти ему или нет: то начинал накрапывать, то переставал, то принимался сеять водяной пылью. «Ну иди уже, нерешительный ты наш», — думал Рауф, которому дождь в этот момент представлялся неплохим поводом поторопиться с отъездом.

Несколькими минутами раньше они вместе с Борисом вышли из комнаты на втором этаже дома, где на тахте лежала старуха с лицом будто вырезанным из потемневшего от времени дерева и таким непреклонным выражением плотно сжатого рта, что казалось: последними ее словами перед смертью было «ни за что». Покойница приходилась бабушкой их начальнику отдела Алексею Георгиевичу, и было ей под девяносто — вот и все, что молодые люди знали о ней, и поэтому выражение сдержанной скорби, с которым оба стояли перед тахтой, стерлось с их лиц сразу после того, как выразив сочувствие трем-четырем родственникам, выстроившимся слева у входа в дом, они стали в сторонке. Борис тут же отошел — и исчез. Наверняка, думал Рауф, поймал где-нибудь за домом Алексея Георгиевича — того почему-то не было среди принимавших соболезнования родственников — и демонстрирует сейчас личную преданность, выпрашивая об имеющихся орга-

низационных проблемах и предлагая свои услуги. Между прочим, и Рауфу надо было обязательно увидеть Алексея Георгиевича, точнее — попасться ему на глаза: иначе-то и смысла ехать сегодня в такую даль не было.

Начавшийся снова дождь, наконец, припустил всерьез, и все, стоявшие во дворе группками по два-три человека, постепенно перебрались под крону большого грецкого ореха. Некоторое время стояли молча.

— Похороны когда... не скажете? — обратился Рауф, начав тяготиться этим молчанием, к старику в галифе и папаше и с покрытой черным лаком алабаши¹ в руках. Первые два слова неожиданно для самого него прозвучали слишком отрывисто и даже грубовато, и поэтому он поспешил добавить это извиняющееся «не скажете?»

Старик, погруженный в свои мысли, не сразу понял — это было видно по его выцветшим голубоватым глазкам, которые он поднял на Рауфа, — но повторять вопроса не пришлось.

— В субботу, дад², решили.

— Да, конечно, я тоже так думал, — пробормотал Рауф.

Поразмыслив, он погрузился. В будний день их бы отпустили с работы после обеда, подъехали бы за часок до выноса — и вся недолга. Перспектива же терять на поездку в это село, затерявшееся в отрогах Кодорского хребта, весь, считай, выходной, ему совсем не улыбалась.

— Какая женщина была! — произнес вдруг, покачивая головой, старик, обращаясь не то к Рауфу, не то ко всем присутствующим сразу.

¹ Посох с железным наконечником.

² Обращение мужчин к младшим по возрасту.

— Да... — протянул Рауф (усмехнувшись, вспомнил: «когда нечего сказать, говорят «да...»») — Сколько ей лет было?

— Девяносто два, — уверенно ответил деловитого вида крепыш с выпирающим пузом — казалось, под его черный кожаный плащ был засунут внушительных размеров арбуз.

— Нет, Алмасхан, — возразил старик. — Ей и девяноста одного еще не исполнилось. Они с моим старшим братом ровесники были.

— Все равно долгожительница.

— Как ты сказал, дад?

— Если девяносто лет человеку исполнилось, — пояснил Рауф, — это уже считается долгожитель.

— Да, у них все в роду были такие, — кивнул старик. — Дедушка Гунды, Абатаа Акун, сто пятнадцать прожил. Достойный был человек — когда хоронили, пол-Абхазии съехалось.

— Я с извинением, что перебиваю, уважаемый Баталбей, но раньше вообще люди подолгу жили, — вздохнул смуглый жилистый крестьянин. — Воздух другой был.

— Верно говоришь, Ферат.

— В начале века, — заговорил Алмасхан, — какой-то немецкий переселенец, по всей видимости большой чудак, открыл в Очамчире магазин и для рекламы такое объявление вывесил: товары отпускаются в бессрочный кредит, но только лицам старше ста лет и в сопровождении родителей. Так бедняга, говорят, скоро разорился, потому что один такой сынок с папашей каждый день в магазин принялись ходить...

Постояли, пряча улыбки: не молодую, конечно, хоронили, но и совсем ведь забывать, где находишься, тоже нельзя.

По двору быстро прошла высокая стройная девушка в темном, успевшем намокнуть от дождя платье, и Рауф не удержался, чтобы не проводить ее взглядом.

Неподалеку что-то глухо стукнулось о землю. Он отлянулся и поднял с земли большое, в красных крапинках яблоко. Смахнул с него приставший комочек почвы, обтер. На яблоке не было видно ни червоточины — значит, само по себе упало, потому что окончательно созрело, налилось соком и неумоготу плоду стало висеть на ветке. Достав из кармана складной нож, отрезал дольку и ощутил знакомый с детства нежный аромат. Абхазские яблоки... Чуть сухой, кисловато-сладкий вкус этого сорта трудно, пожалуй, невозможно спутать ни с каким другим.

Яблони других, ранних сортов стояли поодаль голые, с опустевшими ветвями, а ветки этой, ближней к ним, низко гнулись к земле под тяжестью бесчисленных плодов — словно не хотела яблоня замечать ни холодных ноябрьских ветров, обдувавших холм, ни нагрянувших в этом году так рано заморозков.

— Вот, кстати, тоже долгожительница, — заметил Алмасхан. — Еснат, сколько лет этой вашей яблоне?

— Вот этой? — мужчина с крупной, красиво вылепленной седой головой посмотрел, на миг задумался. — Лет семьдесят будет, не меньше. Сама покойница когда-то ее посадила — сразу как дом на этом месте поставили. Самое старое дерево в саду, а плодов больше всех дает.

Заговорили об абхазских зимних яблоках. И вкус у них необыкновенный, и урожай яблони дают обильный — в иные годы до тонны с лишним доходит. Хорошо плоды хранятся, если даже повредишь при сборе — не в пример другим не загнивают. Только вот беда — исчезают из садов абхазские яблони, в пору в Красную книгу

их заносить. То ли ухаживать за ними разучились, то ли больно уж нетерпеливым стал народ: не хотят люди долго ждать, предпочитают сажать сорта, которые уже через три-четыре года начинают плодоносить. Абхазские же яблони обычно только через лет десять-двенадцать настоящий урожай дают, да и то не каждый год. А может, потому они не хотят плодоносить, что позабыли люди стыд: не для себя, не для гостей их растят, а на продажу, чего предки их и в мыслях не допускали.

— Э-э, где те сады... Природа что ли вместе с нами постарела?

...Дождик незаметно утих.

Наконец-то появился Борис: как Рауф и предполагал, он переждал дождь в разговоре с шефом. И тут же подошедший старик с седыми усами начал упрямить всех пройти в комнату на первом этаже дома: грех, мол, не помянуть покойницу. Борис заупрямился было, но отказывался так долго и так нудно, что даже Рауфа, до этого больше всего озабоченного тем, как бы поспеть домой к началу телефильма, взяла досада. В конце концов двинулись вслед за остальными к месту, где девушка с полотенцем через плечо поливала воду на руки подходившим. Спешить было уже ни к чему — все равно к фильму теперь опоздали — и поэтому Рауф как-то сразу повеселел, настроившись на горячую фасоль, хрустящую на зубах красную капусту и стаканчик другой домашнего вина.

Фасоль и впрямь оказалась отменно приготовленной, а кроме того на столе их ждали еще и маслины, и молодой сыр, и жареная барабулька (что ж, не последние люди в городе и Алексей Георгиевич и его братья чтобы ударить в такую минуту в грязь лицом). Рауфу вспомнилось, как один его товарищ, несколько бравируя перед ним, бодро-цинично уверял, что с некоторыми

пор предпочитает поминальные столы свадебным: на свадьбе быстро пресытишься мясными блюдами, отяжелеешь, все надоест, а тут — сиди и сиди себе не спеша, выпивай потихоньку, закусывай...

Сидя крайним за длинным столом, Рауф все время ощущал тепло, идущее от камина, и время от времени поглядывал, как облизывает огонь сухие смолистые поленья, превращая их в пышущие жаром головни.

— ...Я ее помню уже немолодой, — говорил тост маленький энергичный Манча, обращаясь прежде всего к приехавшим из Сухуми. — Ходила, опираясь на палку, но все равно держалась удивительно ровно и прямо. Есть люди, которые и в старости красивы. Высокая такая, вся седая уже женщина... Чтобы услышать ее мудрое слово, совет, люди со всей округи приходили...

Борис тоже не преминул высказаться (разве мог удержаться, не показать лишний раз, что не чужой этому дому) и, подобно тому, как на собраниях его выступление в прениях неизменно превращалось в содоклад, начал говорить «больше тамады»:

— Каждый человек живет на свете приблизительно двести лет. Вначале — пока на самом деле живет — ходит, говорит, дышит, а потом — пока имя его остается в памяти его детей, внуков, правнуков, всех, кто его знал. Есть, конечно, великие, память о которых и века переживет, но не о них сейчас речь... Просто очень многие люди живут, помня только о первой половине своей жизни и забывая о второй — когда уже не смогут постоять за себя ни поступком, ни словом. И они совершают зло, идут на большие и маленькие преступления против совести и не думают, что перед памятью тех, кто их переживет, будут беззащитны. ...Вы знаете, что было у абхазцев такое имя — Салыбей, но теперь его уже поч-

ти не встретишь — после того, как Жана Ачба¹ высмеял человека с этим именем. Сколько не думай, а более жестокой кары, наверное, и придумать нельзя... К чему я это? Гунда, о которой все здесь говорили с таким уважением, оставила, как я понимаю, о себе прекрасную память. Дай бог нам всем такую счастливую вторую половину жизни.

— За хранительницу этого очага, за Гунду, — поднял стакан Баталбей. — Я хоть, как и вы, молодые, не верю, что там что-то есть, но, как говорят, царствие ей небесное.

Алая капля вина, пролившись из наклоненного стакана, быстро превращает белый кусочек мамалыги в бурый.

— За Гунду!

— Вечная ей память!

— Чтобы ее имя всегда было хранимо и почитаемо в этой семье...

Взглянув на пожилых женщин, сидевших в конце стола, Рауф подумал вдруг о том, что несколько десятков лет назад, когда в этом ли, в соседнем ли дворе собирались люди на свадьбы, похороны, кто-то засматривался на них точно так же, как он сегодня засмотрелся на девчущку, пересекавшую двор. И та ведь древняя старуха в черном платке, которая неподвижно — он не видел, чтобы она хоть раз притронулась к пище, — сидит у самого камина, и она была когда-то молодой...

— ...Приворотное слово, говорят, знала, — бубнил Алмасхан соседу справа — плешивому Ясону, уцепившись пухлой рукой в его плечо. — Прокляла человека, который ее обидел, — и все его родные один за другим сгнули.

¹ Известный народный сказитель.

— Не болтай, Алмасхан, чего не знаешь, — оборвал его Ферат.

— Разве я что плохое говорю? — взбунтовался Алмасхан. — Гунда многое знала, вот что я сказал, травы разные, заклятия...

— Эй, оставьте там, — прикрикнули на них, потому что в другом конце стола Манча уже начал тост в память покойного мужа Гунды, который умер еще до войны и которого сам он знал лишь по рассказам односельчан.

Все повернулись в его сторону, и лишь взор Баталбея, с которым случайно встретился взгляд Рауфа, порастил его отрешенностью — будто был старик в этот момент где-то очень далеко от этой тускло освещенной комнаты, на выбеленных стенах которой плясали тени от каминного огня.

В тот день в их селе Гума должны были состояться большие скачки. С раннего утра из окрестных сел начал съезжаться народ и ожидание чего-то удивительного чувствовалось во взглядах и словах каждого встречного.

У Батала, которому было четырнадцать и который сам уже неплохо джигитовал и пробовал силы в скачках, захватило дух, когда он увидел скопление конных и пеших на гладком, как стол, травянистом плато, образованном излучиной реки. Словно огромный пестрый ковер был разостлан на всем пространстве луга: черески и башлыки, цветастые женские платья и красные ленты, вплетенные в гривы лошадей, солнечные блики в серебряных украшениях сбруи и снаряжения всадников... Над лугом стоял плотный гул, в котором смешались возгласы наездников, конское ржание, чей-то смех. Как обидно Баталу было от того, что отец не позволил

ему участвовать в этих скачках, и с какой завистью он поглядывал в сторону своего любимого каурого жеребца, на котором сейчас гарцевал его старший брат!

Солнце палило все сильнее, и горячий воздух, идущий от нагретой земли, едва заметно колыхал листья древнего платана, в тени которого стояли они с дядей по матери — рыжебородым Татласханом. Народу прибывало и прибывало. «Смотри — Гунда», — толкнул Татласхана их сосед Хабуг, и Батал вслед за ними подался вперед, чтобы взглянуть на знаменитую красавицу из соседнего села Дерекей. Тогда-то он и увидел ее впервые — белолицую, длиннобровую и длиннокошую Гунду. Язычок, судя по всему, у нее тоже был длинный, во всяком случае, больно умел жалить тех, кто осмеливался вступить с ней в словесную перепалку. Словно яркий мячик для игры в аймцакячара¹ летал — так перебрасывалась она шутками с окружившими ее парнями, под которыми нетерпеливо перебирали ногами рысаки.

— Гунда, почему под тобой такая маленькая лошадка?

— Ястреб по сравнению с каплуном тоже маленькая птица. Что толку, что у твоего жеребца такой широкий круп?

— Гунда, а правда, что ты обещала выйти замуж за того, кто победит в этих скачках?

— Успокойся, Дикран, ты-то тут причем? Я же не сказала: за того, кто придет последним.

Батал с восхищением смотрел на Гунду: никогда еще он не видел такого нежного лица, такой тонкой, гибкой талии. И впрямь красавица Гунда, достойная сестра прославленных нартов². На скулах ее горели яркие пят-

¹ Национальная игра в мяч.

² Герои народного эпоса.

на румянца, маленькая крепкая рука натягивала поводья норовистого конька, который то и дело крутился под ней.

Гунда, как он понял из разговора Татласхана с горбоносым Хабугом, действительно перед скачками сказала, что выйдет замуж за того, чей конь придет первым, и отец ее, старый Рашид Абатаа, слова дочери подтвердил. Только поди разберись: где здесь шутка и где правда? Правдой, во всяком случае, было то, что в скачках участвовали гумцы Хазарат Кучберия и Сатбей Амичба, каждый из которых, говорят, сватался в свое время к Гунде и пока не получил еще окончательного ответа. Немало, может, и других парней о Гунде мечтало — что говорить: дом, в который такая девушка войдет, счастьем засветится — только рядом с Хазаратом и Сатбеем некого было вровень поставить. Оба плечистые, ловкие, бесстрашные, к тому же знаменитые на всю округу наездники.

Татласхан, помнится, все доказывал, что непременно сегодня Сатбей должен победить, а Хабуг уверял, что лошадь кабардинской породы, которую Хазарат недавно из-за гор пригнал, никому на этих скачках не обойти. Да Батал и сам мог оценить достоинства этой лошади — Хазарат гарцевал на ней поодаль — легкой, тонконогой, с длинной гибкой шеей. Посмотрев на Хазарата, можно было не сомневаться в исходе скачек: так победно торчали длинные черные усы на худощавом лице этого сорвиголовы.

А Сатбея долго не было. Когда же он появился, Татласхан с Хабугом заспорили яростнее прежнего. Конь Сатбея был совсем молодой, трехлетка, но все уже знали о нем и расхваливали его превосходные скаковые качества. Иноходец от рода, гнедой, с белой звездочкой

во лбу, он не участвовал еще ни в одних крупных скачках, но славу ему прочили громкую.

— Скакун, конечно, ладный, да не объезжен еще как следует, — не хотел сдаваться завзятый лошадиник Хабуг, — и холка, посмотри, низковата.

— А грудь-то какая зато — что кузнечный мех! — торжествовал Татласхан. — Не забудь: три круга сегодня будет.

Наконец участники скачек выстроились в ряд, и после выстрела кони ринулись вперед. Дистанция проходила в основном по взгорьям над плато и была видна как на ладони: поднявшись по верхнегумской дороге, всадники должны были совершить спуск к реке, миновать брод, проскакать довольно большое расстояние по дороге к Дерекею, а потом уже повернуть назад, к излучине. Батал не удержался от того, чтобы с ватагой мальчишек не вскарабкаться на пригорок и не встретить всадников, крича и размахивая руками, в конце затяжного подъема. Загремела под копытами кремнистая дорога, и, обдав брызгами щебня, промчались мимо распластавшиеся в полете кони — только пыль за клубилась вслед. Хазарат и Сатбей, успел он увидеть, шли впереди всех и шли вровень, так что оскаленные морды их лошадей едва не касались друг друга.

Потом он скатился вместе с мальчишками вниз, к остальным, и стал во все глаза смотреть, как облако пыли, в котором виднелись фигурки коней, растягиваясь, приближается к повороту.

Вскоре после поворота кабардинец вышел вперед и первый круг закончил шагов на пятьдесят опережая гнедого. Но в выносливости он, судя по всему, действительно ему уступал: во время второго круга, на подъеме, гнедой его настиг, а потом и легко обошел. Расстояние между ними все возрастало, иноходец шел

победно и неутомимо — будто ветер гнал и гнал вперед язычок пламени.

Когда Сатбей, повернув с дерекейской дороги, вылетел на равнину и помчался к речной излучине, у Батала уже почти не было сомнений в его победе: так неудержим был бег иноходца. И вот тут-то... Уже почти заканчивая второй круг, Сатбей вдруг начал сползать влево и потом как куль свалился под ноги коню. Разгоряченный бешеной скачкой гнедой продолжал мчать вперед, но ему бросились наперерез, и двое дюжих парней успели повиснуть на его шее. Все дальнейшее произошло очень быстро. Подбежав к месту падения, Батал увидел, как Сатбей попытался встать, но лицо его тут же исказилось от боли, и он со стоном опустился на землю. «Ничего страшного, ногу подвернул, — сказал он Татласхану, который начал оттаскивать его в сторону. — Подпруги лопнули».

Здесь же рядом оказалась и Гунда со своей лошадкой.

— А ну-ка, парень, помоги мне, — сказала вдруг она Баталу. одной рукой берясь за луку своего седла, а другой — отпуская его подпруги. Еще не понимая, зачем это нужно, лишь польщенный тем, что Гунда обратилась к нему как к взрослому, Батал бросился помогать ей. Вдвоем они живо перетаскивали ее седло на гнедого иноходца, бока которого ходили ходуном, и Гунда так же живо затащила на нем подпруги. Только когда Хазарат на своей кабардинской лошади пронесся мимо и Гунда, крикнув «Чоу!», пришпорила гнедого, он обо всем догадался...

Люди с удивлением смотрели на поединок джигита и решившейся на невиданный поступок девушки. Долгое время кабардинец и гнедой шли на одинаковом расстоянии друг от друга, и лишь спустившись с дерекей-

ской дороги, Гунда, было видно, отпустила поводья и стала настигать Хазарата. Скачку она закончила первой, опередив его на полтора лошадиного корпуса...

...Что ж, вечная память Сатбею. Теперь, по прошествии стольких лет, яснее, чем раньше, видишь, что был он единственным, по-настоящему достойным Гунды. И не случись с ним потом того, о чем говорил сейчас Манча... Все люди рождаются на свет, чтобы брать и отдавать, только одни брать больше горазды, другие больше отдавать привыкли. Сатбей из тех, отдающих, был — добрым и великодушным. ...Правильно сказал сегодня молодой сухумский гость: каждому из людей суждено две жизни прожить. Так вот, ржавый старичок Баталбей, находящийся на пороге второй своей жизни, очень хорошо сейчас понимает одну истину, о которой раньше не задумывался: то, что мы от жизни берем — на время, а вот то, что отдаем, — навечно, навсегда остается.

А ведь он, если рассудить, единственный из сидящих здесь, кто знал Сатбея таким, каким он был тогда... Но, подумав так, тут же вспомнил о той, что сидела с краю стола, у самого камина.

Ты ли та самая Эсма, чьи щеки розовели когда-то будто облитые кизилowym соком, чье тугое тело так и выпирало из домотканого платьяца, смущая взгляды взрослеющих дерекейских ребят, и чьи руки, не зная устали, могли прясть весь вечер, всю ночь и не болеть под утро? Вот они, лежат сейчас перед тобой — темные, высохшие, в сплетеньях вен. Черный платок надвинут по самые брови. И всей-то радости в жизни осталось, что почувствовать, как греет спину огонь в очаге...

Вот и Гунда ушла. Уж если железная, нестигаемая

Гунда ушла, то ей-то, Эсме, и подавно пора. Это знак, да, знак... А когда им по семнадцать было, никто, конечно, не задумывался, кому раньше уходить придется — мнилось, что молодость и красота вечным уделом будут. Да и что заживутся обе так на свете — кому бы в голову пришло?

Дворы их по соседству были, с детства и в лес, по ежевику, и на речку — повсюду вместе. И отец Гунды, старый Рашид, к ней, Эсме, считай, как к дочери относился: своих-то у него больше не было. Благообразный, белобородый старец, ходивший и говоривший всегда степенно, положив руку на отделанную серебром рукоятку кинжала, славившийся по всей округе добротой и хлебосольством...

Говорят, было ему лет двадцать пять, когда его ближайший друг отправился забирать невесту в селение Араду. Издавна ведь так в Абжуйской¹ Абхазии повелось: парни рода Квициния из села Атара чаще всего присматривали себе девушек по фамилии Киут в селе Киндги и наоборот, Аршба из Ткварчели рождалась с Адлейба из Члоу, гумцы находили новых родственников в Дерекее, ну а деревейцы — в Гуме и Араду. Рашид по какой-то причине не смог тогда сопровождать друга, очень переживал потом из-за этого и на свадьбе его взялся виночерпием быть. Вот тогда и сказал кто-то из гостей, что если, мол, первой у молодых дочь родится, то он, Рашид, женится на ней. А, может, и добавили люди потом то, чего не было... Так или иначе, а Рашид и впрямь женился на старшей дочери своего ближайшего друга: было ей в ту пору девятнадцать, а ему, понятное дело, за сорок уже.

Да, Гунда единственной у них была, но зато уж как

¹ Историческая область Абхазии, ныне Очамчирский район

холил, как баловал ее Рашид Абатаа! Да и чей бы самый суровый взгляд не смягчился, остановившись на резвушке-хохотушке, на умнице-разумнице Гунде? В семнадцать лет она превратилась уже в настоящую красавицу. Себя Эсма тоже не считала природой обделенной, но до Гунды далеко ей было — что правда, то правда. Да и вообще — простовата она, Эсма, была по сравнению с подругой и счастья ждала такого же — простого, незатейливого.

Сразу за домами их лес начинался — светлый, ольховый вперемежку с буковым. Стоило только перебраться через перелаз над изгородью — и вот они, земляничные поляны, колючие кусты ежевики среди густых зарослей папоротника... А пройти еще немного — и выйдешь к затаившемуся в густой траве ручью.

В тот день, находившись по лесу, они прилегли на траву у этого ручья. Воздух был горяч, дышалось с трудом. Гунда, сделав пару глотков из ручья, освежила лицо, набрав воду в ладони, а Эсма и вовсе прильнула пылающим лицом к прохладной глади воды и долго лежала так, время от времени поднимая голову, чтобы вдохнуть воздуха. Потом откинулась на траву, положив руку под голову, и засмотрелась в синее небо.

Невесть откуда взявшийся ветерок зашумел вдруг верхушками деревьев, закрутил в воздухе, будто забавляясь, несколько листьев. Один из них — разлапистый такой, чуть тронутый желтизной — подлетел к Гунде и опустился ей прямо на лоб. Эсма чуть не прыснула, но Гунда, будто и не заметив листка, быстро откинула его назад вместе с прядью волос и тихо спросила: «Слушай, Эсма, тебе кто-нибудь нравится?» «А тебе?» «Да», — коротко сказала Гунда и серые глаза ее странно потускнели. «Правда? А ты ему нравишься, он тебя

любит?» Гунда задумалась, теребя нежными пальцами травинку. «Да он, наверное, и не знает, что я... просто не чувствует...» Удивительное дело: Гунда явно не находила слов. «Да ты толком расскажи. Когда его увидел и вообще: как его звать, откуда он». Гунда послушно кивнула головой и, вздохнув, начала говорить.

Зимой, несколько месяцев назад, она гостила у сестры своей матери в селе Тхина. Младший сын тети — Сандро — страстный охотник, исходивший все окрестные горы, и вот как-то он приехал с одним парнем из Гумы, своим другом. Оказывается, всего за один день человек может влюбиться на всю жизнь. «Прямо-таки на всю жизнь?» — улыбнулась Эсма. «Да, на всю!» — пылко прервала ее Гунда... Весь вечер они с братом были в доме тети, а утром уехали. «Понимаешь, — Гунда приподнялась на локте. — Он такой... Как тебе объяснить... С ним поговоришь, посмотришь ему в глаза — и никогда уже не забудешь. Волосы у него светлорусые, вьющиеся, у висков темнее, сверху — светлее. И глаза такие же непонятные, — она даже засмеялась, — вокруг зрачка золотисто-желтые, а дальше — голубые — будто солнышко на небе. Представляешь?» «Погоди, а как же его звать-то?» — не отставала Эсма. «Брат называл его Сатбеем», — ответила Гунда, снова устремив взгляд куда-то вдаль...

Так Эсма впервые услышала о Сатбее Амичба. Помнится, удивилась даже тогда: почему раньше о нем ничего не знала? Гума ведь самое ближнее к Дерекее село, отделенное, правда, от него бурной Аипстой. В незапамятные времена с правого, гумского берега на левый сползла огромная каменная плита, перекрыв ущелье и образовав собой мост. Так давно это было, что на плите этой и деревья успели вырасти. По мосту тому сельчане часто в гости друг к другу ездили и ходили.

Да что говорить — считай, одним селом жили...

Сколько ни допытывалась Эсма потом про дальнейшие отношения Гунды с Сатбеем, та отмалчивалась, а если и отвечала, то очень уж скупо. И все же знала Эсма, что и Сатбея не оставила равнодушным красота Гунды, что время от времени они видятся и дело у них к согласию идет. Но знала она и о том, почему не спешит Сатбей сватов засылать. Когда вскоре после первой их встречи с Гундой у Сандро умер старший брат, он попросил Сатбея стать его братом взамен ушедшего, и они побратались. Переступивший названное братство считается таким же «амахагья» — кровосмесителем, что и переступивший братство кровное. Правда, Гунда была не родной сестрой Сандро, а двоюродной, и все же... «Он не выполнил обещания быть мне братом», — сумрачно скажет Сандро. «У кого совесть есть, тот не будет так делать, а у кого нет, что с него возьмешь?» — вздохнут старики.

Между тем, во дворе Рашида Абатаа все чаще спешивались парни, желавшие добиться расположения Гунды, а нет — так хоть взглянуть на девушку, о которой в округе говорилось столько лестных слов. Но никому, даже самым достойным из сватавшихся, не удавалось пока услышать в ответ обнадеживающее слово. Точно так же, как и остальным, ни с чем пришлось однажды выехать с этого двора и Хазарату из известного гумского рода Кучберия. Только в отличие от других он не пожелал признать своего поражения и стал в сопровождении друзей время от времени наведываться в дом Рашида Абатаа. Эсма часто бывала в то время у Гунды и могла к нему присмотреться. Самонадеянным он был, Хазарат Кучберия, — это верно, но ведь и не самонадеянностью одной отличался: красив, строен, кинжал и серебряная отделка пояса всегда до блеска начищены,

и о смелости его легенды ходили. А у отца его, говорили, в стаде одной козы не хватало, чтобы нужно было в лес сотню выпускать¹. И хотя Гунда несколько раз намекала, что дала уже слово другому, Хазарат не терял надежду. Друзья, приезжавшие с ним, старались представить его самым что ни на есть высокодостойным женихом. Чувствуя поддержку и отца Гунды, Хазарат становился все более красноречивым:

— Не знаю, понравятся ли тебе мои слова, но скажу: в любви не может быть очереди — кто первый, мол, занял, тот и прав. Пока девушка свободна, она может и изменить свое решение. Уверена ли ты, Гунда, что тот, которому ты — возможно, просто по молодости, по доброте души — дала слово и имя которого никак не хочешь назвать, сможет по достоинству оценить твой ум, твою красоту?.. Одно скажу: если бы ты дала мне ответ, которого я жду, то никогда бы не пожалела об этом.

Длинные речи он говорил, да все такими словами, что, казалось, и змею из норы выманят, только Гунда тоже свое твердила: «И отважен ты, и хорош собой, Хазарат, и речь твоя слаще городских конфет, но только не вольна я уже выбирать. Ты же, поверь, гораздо лучшей, чем я, девушки достоин».

О том, что она пообещала выйти замуж за победителя больших скачек в Гуме, Эсма со стороны узнала. Прибежала к ней, а та: «Молчи, так надо. Все равно на этих скачках никто, кроме Сатбея, не победит. Если бы ты видела его скакуна...» И о том, что произошло на гумских скачках, от людей услышала — сама там не

¹ В старину у абхазцев существовал обычай: из каждой тысячи овец или коз сотню хозяин отдавал в виде приношения богам — «выпускал в лес».

была, на похороны в Члоу ездила. Узнала — и не очень даже удивилась: жила в ней почему-то всегда уверенность, что Гунда ни за что от своего не отступится, все равно так, как она задумала, будет. Говорят, старики долго после тех скачек обсуждали, кому же приз вручать, да так и не решились...

А уж как Эсма на свадьбе ее потрудились: с утра до вечера, с вечера до утра — как же, ведь ближайшая, любимая подруга замуж выходила! Эх, Гунда, Гунда, знать бы тебе, как дальше все обернется — может, и не сияла бы так вся, стоя под свадебным покрывалом в углу той комнатки? А, может, и заставила бы себя остановиться, не бросилась бы на скачках седлать Сатбея коня? Впрочем, что гадать, если почти все, о ком речь, уже давно в земле, а через несколько дней она и Гунду примет. Земля, земля — всех, всех нас, ненасытных, насытишь...

До свадьбы Эсма Сатбея почти и не знала: так, пару раз на каких-то празднествах Гунда ей его издала показала. Парень как парень, подумала она тогда, светловолосый даже чересчур — сама она белобрыхых страсть как не любила. Но потом, когда узнала его получше, поняла: нет, не обмануло Гунду ее сердце. Добрый, отзывчивый — последнее с себя снимет, чтобы другу отдать, но и обидчику не спустит — вот каким был Сатбей Амичба. Как и Гунда, веселую шутку, острое слово любил — в этом они друг другу не уступали. На гуляньях ястребом в круг танцующих влетал, с охоты без добычи не возвращался — стены его дома были украшены длинным рядом попарно прибитых турьих рогов. Поговаривали, правда, что не хозяин, мол, он, что кроме как по свадьбам, поминкам шастать да по горам с ружьем бродить и знать ничего не знает. Только скоро все убедились, что неправда это.

Сперва молодые поселились у отца Сатбея, а потом он неподалеку и собственную апацху¹ поставил. Потихоньку стали обзаводиться хозяйством. В ту пору Эсма часто у них бывала и видела, с каким упорством выбивался Сатбей из нужды: строил, пахал, мотыжил. Хорошо запомнился ей тот день, когда она в последний раз видела Сатбея таким — улыбающимся и счастливым. Накануне ломал он кукурузу в поле и посадил себе на закорки первенскую свою — двухлетнюю кудрявую Мактину. Девочка капризничала, плакала, и Сатбей принялся ее уговаривать: «Не плачь, я тебе лошадку куплю, седло...» Та прислушалась, замолчала, а потом протянула: «А уздечку?...» Вот эту-то историю и пересказывали ей тогда без конца Сатбей и Гунда, и она от души смеялась вместе с ними, поглядывая на закрывавшуюся ладошками Мактину.

А может, запомнился Эсме этот день и потому, что на следующий... или нет, за день до того... соседский мальчонка сказал, что ее ждут у каштана, который растет возле мельницы. «Это еще что за напасть, — вспыхнула Эсма, — тот, кому я нужна, и здесь, в родительском доме меня найдет», но тая в душе тревожно-радостное любопытство, все же спустилась к каштану.

— Знай, — сказал ей черноусый молодец, тот самый, что когда-то на свадьбе Гунды и Сатбея, чиркнув коленом по земле, вырос перед ней, едва она вышла танцевать, — добром за меня не пойдешь, все равно до зимы выкраду, в горы увезу.

И так черными своими глазами на нее смотрел, что казалось: миг — и испепелит всю.

— Горяч ты больно, — засмеялась она, — как бы до зимы не сложил где-нибудь голову.

¹ Плетеная хижина абхазского крестьянина в старину.

Двух дочек они вырастили и шестерых сыновей-красавцев, из которых только трое остались.

Кто-то осторожно дотронулся до плеча. Подняла голову: внук. В глазах — привычная почтительность и одновременно нетерпение: давно уже домой пора. Бережно поддерживаемую за плечи и талию повели из теплой комнаты на улицу, туда, где, уткнувшись носом в чужой багажник, стоял скакун на резиновых подковах — сколько внуку пришлось помотаться, чтобы эти самые покрывающие — темно-красный «москвич». Медленно, с трудом поднимая негнувшиеся ноги, уселась на переднее сиденье.

— Завтра с утра, видно, снова дождь будет, — прошепестел сзади голос невестки, — и что за кляззная погода...

Машина тихо тронулась с места и, разрезая темноту светом фар, покатила под уклон.

... По весне нередко так бывает: спокойная, неспешная дотоле речка, будто опьянев от талых вод, выходит из берегов, затопляет все вокруг, с корнем выворачивает деревья. Так и то время — забурлило, заклокотало, понеслось вскачь. В село один за другим врывались вооруженные отряды, мужчины с колотившимся о бедро оружием влезали на возвышение и долго, до хрипоты выкрикивали в притихшую толпу зовущие куда-то слова. Где уж Эсме с ее умишком было разобраться во всем, если и муж ее тогда только бормотал, сиюсь понять происходящее: «Меньшевики, большевики...»

Неудержимая волна того времени и унесла с собой Сатбея — будто песчинку с берега слизнула. Подался

он в партизанский отряд Степана Капба, который много неприятностей доставлял меньшевикам по всему Кодорскому уезду, а в двадцать первом, присоединившись к Красной Армии, гнал их до самого Ахал-Сенаки. Вот тогда-то и не уберег себя Сатбей.

Привезли его домой из лазарета — правая рука висит как плеть, весь в шрамах. Походил с месяц по двору, а потом и вовсе слег. Поговаривали, что и умом повредился — попала, мол, пуля в голову и что-то важное там задела. Тут, конечно же, немало советчиков у Гунды появилось: все равно, мол, жизни с калекой не будет, так не лучше ли, пока молодая и красивая, о будущем подумать. Тут же и имена подходящих вдовцов назывались. А один из ее бывших вдыхателей, все еще в холостяках ходивший, будто бы во всеуслышанье заявил, что тут же забудет имя просватанной ему невесты, если Гунда согласится войти в его дом хозяйкой.

А Гунда... Гунда вела себя так, будто ничего и не произошло, ну а сколько слез ею в то время было пролито... о том одна подушка знает.

Неужто надеялась на то, что поднимется еще Сатбей, что своей любовью она вдохнет в него его прежнюю душу?

А семья, между тем, росла: родился у них еще мальчик, потом две девочки-двойняшки...

— Какие хорошие дети у этого несчастного Сатбея, — толковали люди. — Такие все здоровые, крепкие, смышленные...

— Вы что, действительно думаете, что это его дети?.. — сказал как-то с усмешкой Хазарат Кучберия, всем своим видом давая понять, что знает гораздо больше, чем говорит.

Сказано это было в центре села, у скамейки под большим дубом, где исстари гумцы на сходки собира-

лись, в присутствии самых почетных стариков — а значит, произносятся такие слова, надо было быть уверенным, что сможешь за них ответить.

Чтобы сплетня по селу поползла, достаточно бывает вот такой брошенной будто невзначай фразы. Да и то сказать: был ведь Хазарат Кучберия довольно близкий сосед Сатбея и Гунды, мужчина в расцвете сил, и в селе еще очень хорошо помнили то время, когда он усиленно добивался благосклонности Гунды. Припомнили еще, как Гунда в самое трудное для семьи время ходила к Хазарату просить кукурузы в долг до будущего урожая. Тогда он не дал, хотя у самого амбара от запасов лопались, а на следующий год почему-то расщедрился, послал Гунде двух своих работников на помощь.

Тогда у него еще работники были... Вскоре кулачье-то поприжали. Но ведь Хазарат был из тех, кто ни при какой власти не пропадет: почуяв, куда ветер дует, успел распродать скотину — будто бы брату в городе дом строить помогал, отпустил работников — словом, чуть в группу бедноты при сельсовете не записался. Через родственников в Очамчире пролез в милицию, сельским милиционером стал. И другая история, которую сейчас вспомнили, кстати, с этой его новой ролью была связана. Однажды гумские комсомольцы услывали, как Зосим Ануа, безобидный пожилой крестьянин, погоняя буйвола во время пахоты, покрикивал: «Ашь, ашь, комсомол, чтоб тебя волки разорвали!» Комсомольцы пожаловались на Зосима Хазарату, тот вызвал его на допрос в сельсовет, а потом запер на ночь в сарае, пообещав отправить утром под конвоем в Очамчиру. Зосим объяснял все дело тем, что буйвола его совсем молодая, в этом году только ярмо недели, а он, мол, думал, что теперь все молодое называют комсомолом... Так вот, кто тогда к Хазарату по-

шел и упросил-таки его отпустить бедолагу? Гунда, хотя ни в каких родственных отношениях с анузвцами не состояла, просто соседкой была. Опять же подозрительным теперь кое-кому показалось: наверняка, значит, знала, что послушает ее Хазарат.

И еще: доходил Хазарат, говорят, в своих рассказах до такой подробности, про какую знали только женщины, с которыми Гунда на речную заводь купаться ходила, и, следовательно, не мог лгать...

Ничего этого Эсма не знала, когда на закате долгого летнего дня Гунда появилась в дверях ее дома. Сразу заметила неладное: лицо у Гунды посерело, как невыбеленный холст, в глазах смятение. Но лишь выслушав до конца рассказ подружки, поняла Эсма всю ее боль.

Накануне, рассказывала Гунда, шла она в лавку и у крыльца ее увидела группу женщин. При ее появлении они разом замолчали, но последние слова — языкастой Ханифы — она успела услышать:

— Сперва коза хвостом пошевелит, а уж потом к ней козел подойдет.

Гунда пошарила взглядом по земле и, подняв большой плоский камень, шагнула к побледневшей Ханифе:

— Вот об этот камень шершавый лучше свой длинный язык почешу.

Кинула камень ей под ноги, отряхнула руки и вошла в лавку. Когда вышла, у крыльца уже никого не было...

— А с самим Хазаратом ты пробовала говорить? — спросила Эсма.

— Как же... Зазвала к соседям, всеми покойниками закинула: «Откажись от своих слов, Хазарат, повинись перед людьми. Ты же знаешь, что чиста я, что в молоке купана, что ничего между нами не было и быть не могло». А он только усмехался: «Не умерла же ты от этих

слов, поговорят и перестанут». И подмигивал еще бесстыже: «Что было, то было — сделанного не воротишь». ...Представляешь: он ведь и свой семейный мир, жену свою ради этой напраслины не пощадил. ...Старшему-то моему уже кто-то в школе сказал: смотри, мол, твой отец идет — на Хазарата.

— Эх, Хазарат, черная твоя душа, — прошептала Эсма. — Слушай, а может, он до этого... пытался?..

— Нет, — уставившись вниз, качнула головой Гунда.

— А что, если и впрямь вернуться тебе в Дерекей?.. — начала было Эсма, но осеклась под взглядом Гунды.

(Странно, но остался в памяти и привкус легкого торжества. Нет, не злорадство, конечно, то было — как могла Эсма любимой подружке плохого пожелать, глаза бы любому за нее выцарапала! Но было все же что-то неуловимое, о чем вспоминалось потом со стыдом и раскаянием: вот ведь — и победительнице Гунде порой ох как плохо бывает, а мы, обыкновенные да простоватые, живем себе поживаем — от того, может, что без своеволия да излишней гордости могли обходиться, не старались во что бы то ни стало судьбу переиначить).

Все свои надежды, как выяснилось, Гунда теперь возлагала на известную дерекейскую ворожею Хикуч Шларба, которой Эсма приходилась дальней родственницей. Вместе к ней и отправились.

Хикуч было за семьдесят. Большой вислый нос — ни дать ни взять семенной огурец, седые космы, а глаз — острый, хитрый. Выслушала она Гунду и сказала:

— Не плачь, детка, а сделай вот что: возьми двух понятых людей и отправляйся босиком в Илорскую церковь. Поставь там свечку перед иконой святого Георгия Победоносца и проси его покарать Хазарата Кучберия за его грязный язык. Скажи так: «Пусть все его

родные будут один за другим умирать, пока он за свой грех не откупится». А откуп будет такой: лошадь с седлом, буйволица с буйволенком, новая уздечка и новая камча, барашек, козленок и сто рублей денег.

Так Гунда и сделала. Те два свидетеля, с которыми она в Илори ходила, эту новость быстро по селу разнесли: прокляла, мол, жена Сатбея Хазарата Кучберия и снять проклятие никто, кроме нее, теперь не сможет. Хазарат на людях ходил как ни в чем не бывало, только посмеивался, а в душе, кто его знает, может, и струхнул: ведь Илорский храм испокон веков пользовался в народе большим почитанием и даже на самых отъявленных нечестивцев нагонял страх.

Прошло несколько месяцев. И тут дети Хазарата Кучберия — их уже к тому времени двое было — один за другим заболели корью. Ну что такое корь? Как объяснял недавно старший внук Эсмы, тот, что врачом в Сухуми работает, обыкновенная детская болезнь, которая очень быстро передается от одного к другому, но вовсе не такая уж страшная: ею все дети должны переболеть. В народе, однако, издавна считалось еще, что оспа и корь — это две болезни «от бога». Обе они не поддаются лечению — если уж суждено человеку выздороветь, то выздоровеет, а если уж нет... У детей же Хазарата очень тяжело корь протекала. Хазарат метался, не знал, что поделать... И тут кто-то посоветовал ему обратиться к Хикуч Шларба. Приехал в Дерекей, разыскал ее.

Старая карга взяла в пригоршню несколько фасолин, что-то пошептала, потом бросила фасоль перед собой и заохала:

— Дид хаас¹, что я вижу! Плохи, ох, плохи твои де-

¹ Возглас удивления.

ла, нан¹ Хазарат, да приму я на себя твои горести, — тебя преследует Илорский храм. Скорая смерть ожидает всех твоих близких... Вот смотри, смотри, как фасоль легла!

— Княгиня! — взмолился Хазарат. — Спаси, подскажи, как откупиться от святого Георгия.

— Ну, хорошо, клади вот сюда деньги, и бог тебе сообщит.

Снова бросила Хикуч фасоль и снова заохала:

— Вижу ребенка, вижу молодую женщину — красивую, с распущенными волосами... Только она сможет тебе помочь.

Теперь уже сомнений у Хазарата не оставалось. Он бросился к Гунде и начал униженно просить ее снять проклятие. Потом взял все необходимое для выкупа: лошадь с седлом, буйволицу с буйволенком, новую уздечку и новую камчу, барашка, козленка, сто рублей денег — и вместе с Гундой и парой доверенных лиц отправился в Илори.

По дороге, правда, заминка случилась: Аипста, через которую им пришлось переправляться, сильно разлилась, и кто-то высказал опасение, что буйволенка может унести течением. Посудили, порядили и решили отвести его назад и оставить пока в хлеве у Хазарата.

В Илорском храме состоялось моление и было торжественно объявлено, что весь выкуп: лошадь с седлом и так далее — переходит в руки Гунде. Надо ли говорить, что для ее с Сатбеем хозяйству это очень большая подмога была.

Вернулись в село, и вскоре дети Хазарата действительно выздоровели. Может, свою роль сыграло и свежее буйволиное молоко, которое они пили. Дело в том,

¹ Обращение женщин к младшим по возрасту.

что, вернувшись из Илори, Хазарат не отвел буйволенка, как было положено по уговору, в хлев Гунды, к буйволице, а через стариков, с которыми они ходили в храм, начал просить ее вернуть ему на время буйволицу: дети, мол, маленькие, без молока совсем пропадут. Через тех же стариков Гунда передала ему, что хорошо понимает, каково детям без молока, и потому решила вернуть ему буйволицу совсем. Вместо этого пусть он выплатит ее с буйволенком стоимость — не полностью, так хоть наполовину, не наполовину — так сколько не жалко, хоть рубль, мол, за них положит. И что же — этот Хазарат так и сделал: отослал за буйволицу и буйволенка то ли рубль, то ли два...

Прошло еще несколько лет и умерла мать Хазарата. Старушке уже за восемьдесят было, видно, время ее настало. Но тут еще брат его заболел...

Снова на смерть перепуганный поехал Хазарат к Хикуч Шларба. А та от Эсмы давно уже о всем происшедшем знала и, едва взглянув на фасоль, начала:

— Ох, Хазарат, пропащее твое дело, зачем ты обманул Георгия? Теперь гибель ждет всю твою семью. И все от того, что пожадничал, утаил буйволицу с буйволенком.

— Твоя правда! — закручинился Хазарат. — Но что же мне теперь делать?..

— Что делать? Теперь надо снова полный выкуп собирать.

И снова Хазарат — в загашнике-то еще кое-что оставалось — купил коня с седлом, буйволицу с буйволенком, новую уздечку и новую камчу, барашка, козленка и добавил сверх того сто рублей денег. Буйволица старая-престарая попалась, весом, наверное, с тонну. И, снарядив весь этот караван, Хазарат обратился к Гунде

с просьбой во второй раз вступить за него перед Георгием Победоносцем.

— Не хочу я твоего добра, — сказала та Хазарату. — Достаточно будет, если в присутствии всего села признаешься, что оговорил меня.

Хазарат даже рад был, что на этот раз так дешево отделался. И случай подходящий вскоре подвернулся: Гунде на собрании как лучшей чаесборщице патефон и бостоновый отрез вручали (а ведь не молодая уже тогда была, откуда и силы брались — двадцатилетних в работе опережала).

Дело было в новом тогда только что отстроенном клубе. Эсма тоже на то собрание пришла. Председатель колхоза, как положено, выступил (и стахановка, мол, она, и член делегатского собрания), за ним начальник из района, а потом, смотря, Хазарат Кучберия вышел — откашлялся и громогласно объявил:

— Уважаемый народ, если можешь, прости меня. Эта женщина, эта великая труженица — в молоке купаная, а во всем виноват только мой недостойный язык. За него, за язык мой, и хотел меня покарать святой Георгий Победоносец.

По залу шум прошел, а тут и Гунда поднялась. Спасибо, говорит, за премию, за то, что труд мой так оценили. А на тебя, Хазарат, я зла не держу, хотя и велика моя боль была. Только святой Георгий тут ни при чем, — да взяла и рассказала все, как было.

До Хазарата вроде и не дошло сразу. А когда дошло — два дня с потемневшим лицом ходил, а на третий отправился в Амзанту дом себе приискивать. Вскоре и переехал туда с семьей, а здешний свой дом за бесценно продал. Тоже ведь гордец был — душе смерти насмешек над собой боялся. Только куда его гордости до гордости Гунды!..

Шакал, говорят, — неудавшийся волк. Но это по мнению человека, да еще, наверное, самого волка. Ну, а как, скажем, шакал на это дело смотрит? Ведь по его-то, шакальему, разумению, наверняка именно его повадки — самые правильные...

Хазарата многие в селе боялись — и не зря. Незадолго перед этим такой случай был: исчез бригадир третьей бригады. Свернул он как-то сидя в конторе самокрутку из обрывка газеты, где портрет человека с трубкой был напечатан. «Постой, ты что делаешь?» — остановил его сидевший рядом Хазарат... А через пару дней рано утром в дверь бригадира постучались...

И вот такого человека, пройдя через страдания и унижения, победила Гунда. Судьба, она ведь норовистой лошади подобна — слабого под ноги сбросит, растопчет, зато уж сильному, кто, ухватив ее за холку, удержаться сумел, — тому покорится, и тогда уж ему ничто на свете не страшно.

Давно, ох давно они с Гундой не виделись. Прошлой весной Гунда ей весточку передала — хочет, мол, встретиться, поговорить. И не получилось: что-то помешало. Знать бы, знать, что вот такой ее только увидеть доведется...

...Вот и лошину у заброшенной мельницы проехали. А вот там тропинка была, в лес уводившая. Как же так: ведь совсем, совсем, кажется, недавно детьми были и сердце замирало от бесконечности дороги, по которой предстояло идти... Окунуться бы знойным днем лицом в студеную воду и прислушаться: не долетят ли отзвуки далекой юности до ее сердца и что прожурчит ей ручей голосом Гунды?

Выйдя вслед за остальными, Алмасхан не стал задерживаться во дворе — все равно попутчиков в его сторону не было — и зачавкал по раскисшей дороге вниз, к табачному сараю пятой бригады, чтобы, срезав потом путь, через пустошь Альяса выйти аккуратно к своему дому. В темноте сразу же угодил ногой в колдобину, чуть не упал. Опасливо оглянулся: не увидел бы кто да не сказал потом, что Алмасхан Гурджуа на оплакивании напился, — и начал осторожно спускаться дальше.

Дождь перестал, но голубая зыбь облаков вокруг луны не предвещала на завтра ничего хорошего. Стянул шапку — разгоряченной от выпитого и от ходьбы голове стало легче. А он и впрямь сегодня лишку хватил... Грех, конечно, так говорить, но уж больно зловредна да сурова покойница была, без нее вроде бы и уютней как-то на селе стало. А если уж без экивоков всяких, так ведьма — она ведьма и есть.

Алмасхан даже приостановился на миг — такой острой болью резануло по сердцу то воспоминание, что сквозь стиснутые зубы прорвался стон. Вот ведь: и лежит уже старуха на тахте бездыханная, зачоченевшая, и гроб для нее заказанный завтра привезут — а все грозит оттуда, из времен двадцатилетней давности, своей клюкой, все не дает житья. И в прах там, в земле, превратится, а ему — все помнить и помнить.

Тогда, в начале шестидесятых, выбрали его гумцами председателем колхоза. Молодой был — сорока еще не сравнялось, энергичный... Образование, правда, филологическое — ну, так на то ведь и специалисты, чтобы в своих специальных вопросах разбираться, а председатель — чтобы общее руководство осуществлять. А что, разве среди нынешних одни агрономы да зоотехники? Как бы не так... И ничего, справляются, а некоторые —

так в республиканском масштабе гремят.

А разве плохо тогда Алмасхан взялся за дело? Он ведь сразу уяснил самую главную истину: чтобы чего-то добиться, надо поддержку иметь, а чтобы поддержку иметь — надо друзей приобретать. Если будешь себе сидеть в Гуме да молчком в земле ковыряться — кто о тебе вспомнит: технику даст, с удобрениями поможет, план до божеской цифры скостит? Требовать, горлом брать — на это у него еще заслуг не было, а вот хлебо-сольством привлечь...

Что до него была Гума? Так, одно из средних сел предгорной зоны. Красивое, правда, село, и, как говорили гумцы во время застолий, «традиционное». Ну, да кого в Абхазии удивишь красотами природы и традициями? Почетных гостей обычно возили по другим маршрутам, где колхозы-миллионеры уверенно демонстрировали стирание граней между городом и деревней, а парадные костюмы колхозников были отягощены многочисленными наградами. Вот Алмасхан первым делом и взялся за ломку привычных маршрутов. Чуть ли не всю вторую бригаду на Антицу Зет-ипа заставил чай собирать: заработком-то они потом делились, но цифры у Антицы такие были, что уже на следующий год стала она одна одним из первых «маяков» в районе. Музей скаковой езды — единственный в своем роде, как говорилось в районе на всех собраниях и совещаниях, — при колхозном клубе создал. Целую дискуссию в районной печати затеял по поводу того, не является ли непонятное сооружение на вершине близлежащей горы Нарджхеу остатками причала, к которому в стародавние времена приставал еще знаменитый корабль «Арго».

Любое общественное мероприятие чуть ли не на уровне съезда проводил, журналистов, ответственных работников со всей округи приглашал. Особенно удавался

обычно на таких мероприятиях «второй вопрос»: вино рекой лилось, а уж каким тамадой был «Алмасхан гумский», как прозвали его в районе, так это надо было послушать.

Так постепенно и повелось: как гость какой (не только официальный, а и так — начальника раймилиции зять из Тбилиси, товарищ из Москвы, с которым начальник сельхозуправления в санатории отдыхал) — сразу звонок к Алмасхану, а о дальнейшем можно было не беспокоиться, знали: с дорогой душой примет. Частенько и без звонка заявлялись: смотришь — а у правления уже черная «Волга» стоит, или «Победа», или «Москвич». Алмасхан, открыв объятия, медленно шел навстречу гостям, на ходу стараясь сориентироваться, кто нынче пожаловал и какого масштаба надо затевать застолье. Система была отлажена четко, лишних слов не тратил — пока шел обмен приветствиями, незаметно показывал подвернувшемуся колхознику два расставленных буквой V пальца, что означало: хочешь не хочешь, а сегодня мелкая рогатая скотина за тобой.

Пока посещали музей скаковой езды и гору Нарджхеу, пока с возвышенного места любовались плантациями колхоза («В городах сейчас, говорят, ученые люди целую науку придумали — производственную эстетику: чтоб, значит, и светло в цехах было, и просторно, и цвета, соответственно подобранные, глаз не утомляли, производительность труда повышали. А у нас сама природа расстаралась: разве можно, работая среди такой красоты, план не выполнять?») — пока, короче говоря, нагуливали аппетит, коза бывала уже освежевана и вода вовсю klokотала в котлах с мясом.

Поначалу хлопот с хозяевами не было: наоборот, гордились многие тем, что их выделили, к ним зашли. Потом, правда, появились и недовольные (из числа веч-

но недовольных): совсем, мол, эти «экскурсии» разорили, — но Алмасхан быстро им рот затыкал: «Так надо» — и точка. Не для себя ведь, для общей пользы старался. И как будто ему самому легко было вставать каждое утро с разбитой головой и приниматься за колхозные дела!..

Что ни говори, а за четыре года, пока он председателем был, Гума и там и сям в докладах да справках замелькала (главное, в первый раз попасть, а там — пойдет кочевать): не «инициатива», так «положительный опыт», не «интересное мероприятие», так «интересная задумка»... Не все, конечно, дыры в хозяйстве успел залатать, но главное — курс верный был взят. ...О себе, конечно, тоже не забывал — а что делать, семья-то большая, да и труд ведь большой в дело вкладывал. Другие, бездельники и тупицы, без разбору, бывало, хапали и взамен ничего не давали, а он — мало разве для села сделал?

И вполне ведь уверенно себя чувствовал: все районное начальство — свои люди были, кто бы в колхозе на него тявкнуть посмел? В отчетности тоже полный порядок... Нет, со всех сторон надежная защита имела. И вот тут — перед самым отчетно-выборным колхозным собранием дело было — передали ему, что Гунда просила зайти, разговор, мол, к нему есть. Сразу тяжелое предчувствие одолело, но не пойти нельзя было: во-первых, двоюродной сестры свекруха, а во-вторых, кто бы в селе Гунду послушался...

Уж на что Алмасхан к тому времени на всяких заседаниях да совещаниях пообтесался, присмотрелся к тому, как руководителей «раздевают»! Не раз присутствовал на заседаниях бюро райкома, куда «львы» входили «котятками», а выходили... не сразу и слово подходящее подберешь. «Лицо!» — кричали, бывало, вконец расте-

рявшемуся человеку, и тот в испуге хватался за лицо: «Что, где?» «Да, да, где ваше лицо? Вы потеряли свое лицо!!!» Вот на каких заседаниях не раз доводилось присутствовать Алмасхану Гурджуа, но в тот день под взглядом беспощадных стальных глаз этой старухи, этой ведьмы с клюкой, все эти бюро показались ему чем-то вроде дружеского распекания, когда приятели журят за то, что не заходит в гости.

— Твой отец, нан, — начала Гунда, — был порядочным человеком, честным. Из-за уважения к его памяти мы и хотим покончить это дело миром, чтобы не было лишнего бесчестья твоей семье.

— Кто это «мы»? — возмутился Алмасхан. — И о каком таком бесчестье, уважаемая Гунда, ты говоришь?

— Мы — это народ, — влез в разговор сидевший по правую руку от Гунды Самсон Тванба, — народ, которому надоело терпеть твои выходки.

— Почему, — продолжала Гунда, — Астамур Куадзба должен был в прошлую пятницу резать телку? Чтобы накормить пару толстобрюхих горожан, которых он до этого в глаза не видел?

— Никогда еще гумцы не падали лицом в грязь, встречая гостя. Для гумца гость и бог равны на этом свете, — стараясь говорить спокойно, ответил Алмасхан. — К тому же все, кто принимал хлеб-соль в нашем селе, — это нужные люди, дружба с которыми сторицей окупится.

— Тебе, Алмасхан, нужные, тебе — не селу. Извини, но разве виноват Астамур Куадзба, что твоя старшая еле-еле гумскую школу закончила и второй год поступить не может?

Вот ведь подлость человеческая куда простирается — и ребенка не пожалела, его имя ради своих грязных интриг в дело втянула!

— Хорошо, — сказал Алмасхан, — а три с половиной километра асфальтированной дороги в центре села вам не нужны были? А три «Белоруса» и два «ДТ-54» вам не нужны были? А профилакторий?..

— Оставь, — угрожающе махнул рукой сидевший слева от Гунды черный, как котел, Ферат Ануа, — кто из нас в этой твоей профилактике был? Да и что бы ты ни делал, все равно о себе только думал. У тебя же все для показухи. Разве ты о народе думал?

— Премии чаеводам куда делись? — поддакнул Самсон Тванба. — И в прошлом году, и в этом... А на ферме что творится? Посадил заведующим своего дядю — известного бездельника и пьяницу. Все в округе уже смеются: в Гуме, говорят, новую породу быков вывели — ребристую. До того быки отошали, что ребра торчат.

— Так ты вместо того, чтобы рот болтунам заткнуть, дальше эту чушь понес? — вскинулся было Алмасхан, но взглядом своих беспощадных глаз Гунда усадила его обратно:

— Обижаются на тебя люди: и за премии и за многое другое. Колхозный сад почему приказал выкорчевать? Это же наши абхазские яблони. Этот сад еще твой отец закладывал...

— Все знают, Гунда, твою справедливость и мудрость, но согласишься, что в вопросах экономики ты не очень сильна. Что вы все со своими яблонями... Не выгодны они нам экономически, понимаешь, не выгодны! Урожай в три года раз дают, да и тот, бывает, некуда девать. Половину деревьев уже заменять надо — значит, десять-двенадцать лет ждать, пока новые плодоносить начнут? Не-ет! Мы на этом месте тунг посадим или лавр — и в два счета все окупится. Да и кого вообще удивишь этими вашими яблоками! В Абхазии посадки цитрусовых надо расширять, фейхоа, чая — того, чего

в других местах нет, — Алмасхан незаметно для себя заговорил с интонациями одного руководящего работника, часто наезжавшего в район.

— Если все твоей куцей правдой мерить, то ты, конечно, прав. Только знаешь, что мне мой дед рассказывал? Когда вырвались они из махаджирского¹ плена и, придя на свои родовые земли, увидели их в запустении, не о завтрашнем и не о послезавтрашнем дне думали, сажая абхазские яблони, а о детях своих, о том, что обязаны их навсегда, навечно связать с этой землей. Трудом великими, кровавым потом вымаливали прощение у родной земли... Во всем районе только в нашем селе такой сад остался, и мы его сохранить обязаны.

«Можно подумать, у меня золотой зуб вырастает, если мы его сохраним», — подумал Алмасхан, но промолчал.

— Не жалеешь ты людей, кричишь на них, кулаком стучишь! — продолжала Гунда перечислять его «прегрешения». (Все верно, два раза уже пришлось на председательском столе стекло менять. А отчего, спрашивается, стучал — не от того ли, что каждую мелочь в колхозе близко к сердцу принимал?). — А ведь я говорила тебе уже, помнишь? И так, и этак уговаривала. И чтоб вдов в покое оставил, не обижал... Зачем позавчера снова к Ламаре ломился?

«И про это известно», — похолодел Алмасхан: знал, что родичи Ламары не простят.

— Словом, вот что мы тебе предлагаем. Поезжай-ка ты утром в район и скажи, что не можешь больше председателем в Гуме быть. Причину сам найдешь. А иначе — знай: на собрании народ против тебя проголосует.

¹ Махаджирство — массовое выселение абхазцев в османскую Турцию во второй половине XIX века.

...Шел тогда Алмасхан домой и по дороге все ясней понимал: а ведь нет у него действительно другого выхода. Как скажет ведьма, так гумцы и сделают — против него руки поднимут. Может, десятка два верных людей и наберется, но этим делу разве поможешь? Лучше уж и впрямь без скандала, как бы по собственному желанию. Болезнь что ли себе какую придумать?..

Трудно, признаться, Алмасхану было отвыкнуть от титула «гумский». Ведь именно в этой роли был он силен — штатного оратора из глубинки, полукурсовода-полухозяйственника... Сразу заметил, как охладели бывшие «друзья», в том числе и те, которые раньше крошки с его рук слизывали. На руководящую работу, как надеялся, устроиться не удалось, еле-еле место завмага в Очамчире приискал, да и магазинчик-то был — одно название. Не имея опыта работы в торговле, быстро прогорел, чуть под суд не попал — хорошо еще, что кое-кто все же его хлеб-соль не забыл, человеком оказался, — не дали утонуть. А потом пошло-поехало: инспектором по кадрам на чайфабрике, экспедитором... На разных должностях и должностишках обретался, кое-чего, может, и добился, но все же той высоты, на какую был способен, не смог набрать. Сколько раз жалел, что когда-то вот так, без борьбы, сдался, да уж, конечно, поздно было. Год назад на пенсию вышел: ни почета, ни славы, как в свое время мечталось, ни элементарного уважения...

Гиблое то село, где вот так баба начинает всеми делами вершить. Даже сейчас, когда, наконец, избавились от нее, все равно выкормыши ее в селе верховодят, те, что под дуду ее всегда плясали: и колхоза председатель, и сельсовета. «Гунда так сказала... Гунда так считает...»

...Как этот умник из Сухуми сегодня сказал? «Каж-

дый человек живет на свете двести лет». Пустое это всё: заколотят гроб, присыплют землей — и конец, очень ты там почувствуешь, что о тебе думают и говорят. И какая, если подумать, разница: один, праведник, всю жизнь про аламыс¹ твердил, шаг не по совести сделать боялся, а другой, знай, жил в свое удовольствие — пил, кушал, то, что плохо лежит, прибрать не стеснялся — а в конце концов и тому, и тому в земле тлеть. А детям — не очень-то твоя праведность да совестливость в наследство нужна, они дом и машину предпочтут. Так-то...

Да, уж на его-то, Алмасхана, похоронах, ни Манча, ни Ферат наверняка не будут так ораторствовать — скажут, может, пару слов из приличия, и все. Ну, да бог с ними, что ему до этого? И все же от мыслей о собственных похоронах Алмасхану стало неуютно...

Далеко за полночь в доме, наконец, все затихло: ушли, перебив посуду, соседки, улеглись, закончив разговоры о том, кому куда и зачем завтра ехать, хозяева, и только в комнате наверху переговаривались трое соседских парней, вызвавшихся провести эту ночь у тела покойницы.

Спустившись с лестницы, Еснат устало прислонился плечом к стволу старой яблони, закурил. Еще час назад дул резкий наждачный ветер и по небу неслись рваные тучи, время от времени прорывавшиеся к земле холодными каплями дождя вперемежку с крупинками льда. А потом вдруг ветер улегся, небо вызвездило, и над селом застыла теплая мирная тишина. Смутно проступали в темноте окрестные холмы. В воздухе пахло влажной землей и прелыми листьями.

¹ Свод нравственных правил абхазца.

Еснат провел по коре яблони шершавой огрубевшей ладонью («тоже ведь как кора стала») и ему захотелось заплакать — как когда-то в детстве, тихо, беззвучно. «Вот ведь — пережила-таки, яблонька, ты свою хозяйку, хотя и у тебя уже, видно, силы на исходе. Сколько ж было нашей с тобой матери, когда прилаживала она на этом месте тонкий прутик, который потом в такой вот ствол вымахал? В тот год Мактина родилась — значит, лет двадцать, не больше...»

Отец погиб на фронте в первые же месяцы войны, когда Еснату было восемь лет, а сестренке его Любе — десять. От горя да от навалившейся непосильной работы и мать через три года угасла. Хоронить ее приехали ближайшие родственники — двоюродный дядя из Дерекее и жена его. Быстро, ладно у них тогда все вышло — и похоронили родню как подобает, и за дом хорошую по тем временам цену получили, и скорбь в момент вывезли, и Любу с Еснатом к себе на воспитание взяли.

Взять-то взяли, только не как родных в дом берут, а как прислугу. Дядя — тот еще ничего был, потому что собственной тени в доме боялся, а вот жена его... Ни разу, кажется, по имени их так и не назвала. «Эй, вы, дармоеды несчастные, ни на что не годные, и где вы только выросли!..» Ругань, как уже потом, повзрослев, думал Еснат, была для нее чем-то вроде утренней зарядки: не излив всей накопившейся за время вынужденного ночного молчания и начинавшей душить ее злобы, она выглядела вялой, чуть ли не больной. Поводов находилось сколько угодно: не так ступил, не так посмотрел... Если в тот день ни Еснат, ни Люба провиниться еще не успевали, она начинала заново ругать их за вчерашний проступок, если и из вчерашнего вспомнить ничего не удавалось, в дело шло позавчерашнее. Подолгу

неслись выкрики из амацурты¹ (Еснат уже каким-нибудь делом во дворе занимался, а она все не могла успокоиться, с собой разговаривала): «Чтоб ты провалился! Чтоб я твой гроб увидела! И мать ваша, видно, такая же была...» Все мог стерпеть Еснат — но только не эти слова о матери. Влетал в амацурту с горящим взглядом и сжатыми кулаками — и застывал: что сделать мог, чем ответить? «У-у, волчонок», — встречала она его насмешливым взглядом (а щеки, окружье носа белыми от ненависти становились).

И если б не то утро, когда брел он в лес с тяжелой цалдой² на плече — чумазый, оборванный... Видит: встречу — гумская соседка их, Таты и Шазины мать. Шла она, чтоб навестить дерекейскую родственницу-старушку и несла ей небольшую корзинку с орехами и яблоками.

Выбрала Гунда ему самое большое и красивое яблоко, подала. Краснобокое, твердое... И вот на эту-то темно-красную поверхность и упали тогда две слезинки. «Что с тобой?» Никак не хотел глаз поднимать, все вниз шею гнул. Да и как тут выскажешь все? Вспомнил, как в саду, где эти яблоки росли, он и сестренка с Татой и Шазиной играли...

Взяла его тогда Гунда за руку и ни слова не говоря повела в дом дяди. «Вижу, не очень-то сладко у вас сиротам живется. Что делать — видно, и сами еле-еле концы с концами сводите. У меня тоже достаток не ахти какой, но, может, рядом с домом, где выросли, детям легче будет?» Те испугались вначале, думали, что дети долю за отцовский дом потребуют. Потом тетушка вроде успокоилась, всплакнула напоследок даже.

¹ Отдельно построенная кухня.

² Вид топора.

Бедного Сатбея к тому времени уже лет пять-шесть как не было, так что Гунда им и матерью, и отцом стала. Старшая ее, Мактина, уже замуж вышла, Георгий (его в самом конце войны призвали) где-то дослуживал, а сестры-двойняшки Тата и Шазина — те лишь немногим постарше их были.

Дней десять тогда жили Еснат с сестренкой на новом месте... Спрятались в задней комнате и через щелочку в дверях во все глаза смотрели, как двойняшки подошли к Гунде:

— Мама... Люба и Еснат хотели тебя спросить, но стесняются... Можно, они тебя тоже мамой будут называть?

Она повернулась к ним, улыбнулась, рукой по начинающим сесть волосам провела:

— Ну, конечно, можно... Так им и скажите... Они ведь наши, правда?

— Мама разрешила, ура, мама разрешила! — распахнув двери, кинулись им на шею двойняшки...

В новом доме достатка как раз поменьше, чем в прежнем, было, а вот горе голодное не так чувствовалось. Мамалыгу, бывало, варево из незрелых груш да печеные яблоки заменяли, вместо медового чурека улыбка шла, вместо аджики еду острой шуткой приправляли. И ничего — жили, росли. Потом Георгий из армии вернулся, полегче стало.

Только раз, помнится, за все время она на него руку подняла. Купили тогда Еснату первый в его жизни пиджак. И так и сяк перед зеркалом вертелся... А потом что удумал: спрятал руку за спину, пустой рукав в карман засунул и начал по улице расхаживать. Увидят, думал, люди, удивятся: «Что это с тобой?», а он — раз руку из-за спины: все, мол, в порядке. Кого тогда изображал?.. А, может, никого, просто так озорничал. Толь-

ко как увидела это Гунда — вся в лице переменялась и затрепину ему отвесила. Сама же первой потом и расплакалась: «Нельзя так делать, сынок, грех это, ты уже не маленький, сам понимать должен, что нельзя».

...Многому Есната Гунда научила. Это ведь только деревейская тетушка неумехой его обзывала да чем попадая по голове била, а вот показать, объяснить... Помнишь, яблоня, как, прихватив куски ткани и глину, пришли мы сюда прививать твои ветки сеянцам?

— Вот так, надрежешь здесь, ниже почки, — приговаривала Гунда, — и здесь, чтобы веточку в ствол посадить. А теперь глиной мажь... А ты как думал: что сеянец сам по себе такой же яблоней станет? Нет, ведь и сыну, чтоб на хорошего отца походить, мало с его фамилией родиться.

«Эх, яблоня, яблоня... Сверстницы твои по всей округе уже давно постарели и высохли, а тебя и годы не берут. А сколько раз, между прочим, думали мы: все, отцвела наша яблонька!» Как-то несколько лет подряд стояла она с голыми ветвями, не цвела. Хотели уже срубить, но Гунда не дала. Как за больным ребенком за ней ухаживала, поливала, золу ведрами носила — и на следующую весну зацвела как ни в чем не бывало. Потом как-то раз тут, на склоне, оползень произошел — как она удержалась, не упала? Корни наполовину обнажились, но остальными из всех сил за землю держалась. Сколько они сюда земли перетаскали, чтобы склон укрепить!..

И еще чему постоянно учила, так это честности. Как-то после войны работала она на приемном пункте: тунг от хозяйств принимали. И подкатился к ней, рассказывала, сдатчик из одного колхоза: запиши, мол, мне влажность на десять процентов ниже, а с меня — пятьсот рублей. Она — ни в какую. Не занималась, говорит,

никогда такими вещами и не собираюсь. Он и так, и этак. Ну, и бестолковая ты, говорит, сама подумай: это ж все равно, что пятьсот рублей на дороге не найти. А под конец разозлился: «Пусть у тебя на теле столько нарывов будет, сколько раз ты такие вещи делала». Вытолкала тогда она его на улицу и сказала: «Эти твои пятьсот рублей я за свою жизнь еще сто раз заработаю и потрачу, а вот имя чистое у меня одно». Так Еснат на всю жизнь и запомнил: имя — одно.

Посторонних, тех, кто не знал ее, всегда удивляло ее упорное нежелание отступать хоть на шаг от того, что она считала истинным, справедливым. Любая фальшь и неправда причиняли ей, казалось, физическое неудобство, и она, бывало, могла часами внушать что-то тому, поведением кого оставалась недовольна. Старший сын Георгия, передали сельчане, — тот, что в городе в начальниках ходит — начал важничать: заставил их долго ждать, вполуха слушал и просьбы их так и не выполнил. Так это надо было видеть, с каким жалким видом сидел перед ней ее внучок! Средний сын Мактины, сказали, неуважительно отозвался о родственниках жены. Что, да как, да почему, да пойдй извинись... До смешного доходило, когда, скажем, Тата, биолог, кандидат наук, сама уже двух внучек имеющая, начинала объяснять ей, почему поставила зачет одному студенту и не поставила другому. Да только никто не смеялся, потому что знали: все, что надо, она своим мудрым сердцем понимает, в глупое положение никогда не попадет и слова необдуманного не скажет. И заботит ее при этом одно: чтобы сердца родных людей не черствели, чтоб не учились они свою совесть обманывать и без правды обходиться.

Ни у кого ведь так, как у нее, душа за других не болела. Зять в Ткварчели на машине аварию сделал,

права отобрали — как же, обязательно ей надо ехать, из беды родственника выручать! У Шазины нелады на работе — кто еще в Сухуми поедет, во всем разберется и страсти утихомирят! Старшая невестка Еснату норовистая попалась, да и, прямо сказать, с нелучшим прошлым, со всякими спекулянтскими знакомствами (и по сей день ему кажется, что сын его лучшей участи заслуживал), а вот Гунда сумела к ней все же подход найти, постепенно к порядку в мыслях и поступках стала приучать.

...Получилось теперь, что он здесь, в этом доме, за хозяина остался: Георгий давно в город перебрался, с сыном живет, сестры тоже кто куда разлетелись. У всех уже внуки и внучки, да и сам ведь два года как дедом стал. И все равно будто снова сиротой себя почувствовал...

Как-то мы будем жить без тебя, родная?

Намаявшись за день, Марина долго не могла уснуть. Лежала и смотрела на выбеленный лунным светом край покрывала, которое свесилось с детской кроватки. Тихо посапывал в темноте Дамейка («малыш мой», — прошептали губы). За окном снова тоскливо завывала собака. Раньше Марина не верила, что и собаки смерть хозяев чувуют, но оказалось — правда.

С той, что накрытая с головой покрывалом лежит сейчас на тахте в соседней комнате, у нее, конечно, сложные отношения были — никак не скажешь, что все эти годы душа в душу жили. Четыре года... да, четыре года скоро уже...

Один из приезжавших сегодня сухумских парней — у Алеши, кажется, оба работают — под конец, когда

уже все в темноте рассаживались по машинам, не удержался, подошел к ней:

— Извините, вы здесь, в этом селе, живете? Помоему, я как-то в городе вас видел... Вы еще тут во время дождя по двору шли...

Усмехнулась про себя.

— Да, здесь живу. Это бабушка моего мужа умерла, — коротко, но ясно растолковала.

А парень ничего, ненахальный. Мысленно она продолжила разговор с ним — потупившимся в смущении, отступившим, отошедшим к кучке людей, где стоял его товарищ.

«Простите, я не знал... Сочувствую вам... Не сердитесь, пожалуйста, что спросил...

— Ничего, ничего, я не сержусь.

— Никогда бы не подумал, что вы замужем...

— Моему сыну скоро уже два года.

— И вы... счастливы?

— Да... Можно сказать — да...»

Счастье... Далеко не всегда оно таким приходит, каким ты его себе задумала, вымечтала. Да почти что всегда — не таким.

... Их завокзальный район считался в Очамчире самым хулиганским. «А-а, — говорили в городе, — ну, конечно, девятый район...» Отец, пять лет Марине было, когда из семьи ушел. Так мать их троих и тянула. Характерец у Марины с самого детства еще тот был. «Я вот что думаю, — начинал, бывало, подначивать ее при всех двоюродный брат, — если когда-нибудь наша Марина выйдет замуж, я на свадьбе подойду к ее жениху и — нет, не «поздравляю» скажу — «сочувствую вашему горю». А когда он удивится, «почему?» спросит, «ничего, ничего, — скажу, — скоро сам все узнаешь». Марина, конечно, обижалась — но больше всего на то, что он под-

черкивал: «если когда-нибудь выйдет». Хуже других она себя никогда не считала. До шестнадцати, правда, худющая была, как палка, только и было, что ноги — «чуть не от шеи растут», завидовали подруги. А потом вдруг как-то разом с такой пугающей откровенностью стали вырисовываться «взрослые» очертания фигуры, что из-за взглядов мужчин она стеснялась пройти по улице.

Ну, а мысли о будущем муже только после окончания школы стали приходить. Марина почему-то всегда представляла, что встреча с ним произойдет у нее в каком-нибудь культурном месте: в театре, выставочном зале или, скажем, в читальном зале Республиканской библиотеки, куда она ходила заниматься, когда в институт поступала. Он войдет, окинет взглядом зал в поисках свободного места и заинтересуется: а кто это там, в дальнем ряду, у окна? Темные густые коротко подстриженные волосы, припухлые губы, блузка, юбочка — а сама с головой в книгу ушла. «Извините, девушка, это место не занято?» «Что, как?» — поднимет она на него непонимающие синие глазищи, и он поймет, что это его судьба...

С институтом ничего не вышло. И в очамчирской-то школе когда училась, нельзя было сказать, что от ученика ее не оттащишь, а когда в десятом в меркульскую перевелась — для среднего балла — так там тем более.

Но возвращаться домой не хотелось. Марина подсутилась с пропиской и начала работать на хлебокомбинате и одновременно заниматься в институте на подготовительных курсах. Жила у дяди.

На обед они с подружкой — разбитной и вертлявой, с широким утиным носом Хатуной — ходили обычно в соседнюю столовую. Как-то, выходя из нее, Марина столкнулась с парнем плотного телосложения, из-под полурасстегнутой рубахи которого выглядывала курча-

вая грудь. Парень засмеялся, но ничего не сказал. В следующий раз он заплатил за ее с Хатуной обед, что ей совсем не понравилось. В субботу Хатуна предложила сходить на вечерний сеанс в кино — в «Апсны» индийский фильм шел. В фойе встретились с какими-то ее приятелями — человек трое ребят было. В зале сели вместе, потом в темноте к ним еще кто-то подсел. Начали шумно пересаживаться друг с другом, и в конце концов рядом с Мариной оказался тот самый плотный парень из столовой. «А этот еще здесь откуда?» — подумала она. Совсем дурочка была, ничего не понимала.

После кино эти ребята пристали: подвезем да подвезем на своей машине. И Хатуна еще поддакивала: «Сколько еще троллейбуса ждать, да и влезешь ли в него — неизвестно». Машина «Волга» была, все вместе в нее втиснулись. Когда в другую сторону поехали — «сначала вот его подвезем», сказали — Марина еще верила, что ничего такого не происходит. И только когда за город выехали — всерьез забеспокоилась. А тут и Хатуна с переднего места оборачивается: «Познакомься, вот это — твой муж». С какой ненавистью вспоминала потом ее Марина: «Утконос несчастный! И еще ведь благодетельницей, небось, себя считала, «счастье» мое она, видишь ли, устраивала». Стиснутая с обеих сторон мужскими плечами, заплакала, вырваться стала. Да куда там...

Не думала не гадала Марина, что вот так, в каком-то глухом селении, оставленная на время одна в маленькой комнате с голыми стенами на втором этаже дома и с отчаянием вглядываясь в темень за распахнутым окном, она должна будет решать свою судьбу. Да и что, собственно, было решать? Попытаться вырваться, убежать? Так или иначе, разговоры ведь все равно пойдут. Сочувствия, утешения... А кто-то и усомнится про

себя, что ей удалось «выйти сухой из воды». В сущности, этот Нугзар, хотя и совсем не походил на придуманного ею парня из читального зала, был на вид не хуже многих других. Унижала только мысль о том, что ее выбрали как вещь на прилавке, что ее мнения даже не спросили, заведомо пренебрегая им, заботясь лишь о том, чтобы не сорвалось задуманное, чтобы было так, как решил он, мужчина...

...Родители Нугзара сняли им в Сухуми комнату, но прожили они вместе всего два с половиной месяца. Нугзар оказался настоящим, как назвала его мать Марины, головотяпом. Только и знал, что пить, таскаться по турбазам да по домам отдыха и хвастаться потом перед дружками своими «победами» («и это при такой жене-красавице», — жалея Марину, вздыхала соседка). Работать не хотел и куда ни устраивался, отовсюду его выгоняли за прогулы. Последний месяц вообще слонялся без дела — работал, по его выражению, «заведующим набережной». В дом, естественно, не приносил ни копеек, только и оставалось, что на родительскую поддержку рассчитывать. Поначалу Марина терпела, на что-то еще надеялась, будто верила, что этот никчемный забулдыга может вдруг переродиться, но когда однажды, придя домой по обыкновению пьяным, он поднял на нее руку, ни слова не говоря собрала свои пожитки и ушла на квартиру к Марго — была у нее такая знакомая, имевшая со старушкой-матерью собственный домик.

Марина будто выздоравливала после тяжелой болезни. Ничего, кроме слез и унижений, замужество ей не принесло, и месяцы его остались в памяти темным провалом. Но постепенно она снова научилась радоваться жизни: ей было восемнадцать лет, и жизнь, говорила она себе, еще не кончена. Устроилась ученицей в ателье — она ведь с детства еще кройкой и шитьем увлека-

лась, а тут почувствовала: вот оно, ее дело. Скоро всех знакомых начала обшивать, клиентура своя появилась, ну а поскольку, по словам Марго, маленький рубль лучше, чем большое спасибо — и деньги соответственно. Приделалась хоть немного.

Мужчины тоже вниманием ее не обходили. «Ох, и фигурная же ты у меня! — масляно улыбался, бывало, толстый закройщик Габо. — Будто по лекалам тебя вырезали». Так и раздевал глазами, но на большее не решался и под презрительным ее взглядом: «Почему это я «у тебя»?» — шутливо вскидывал руки вверх: «Знаю, знаю, что абхазская женщина даже после развода — девушка!»

В доме черноглазой толстушки Марго («Женщина должна быть красивой, и ее должно быть много», — говорил любовник Марго Аркадий) постоянно роились приятели и знакомые. По вечерам слушали музыку, танцевали. У Аркадия была машина, и иногда они небольшой компанией отправлялись куда-нибудь на Пицунду — покатать шары в кегельбане — или (если дело было летом) на природу. Естественно, что на такую яркую девчонку, как Марина, в этих компаниях всегда кто-нибудь да засматривался, но она не хотела размениваться, да и Марго бы ее в обиду не дала.

Марина знала, что ее родным не очень нравится, что она живет у Марго. И тем не менее она уже ни за что не согласилась бы поменять свою нынешнюю жизнь на прежнюю — на пустые, скучные вечера в дядиной квартире, на страхи о том, что она может где-нибудь задержаться и прийти домой после девяти. Надо быть совсем зеленой дурочкой или каким-нибудь глупым профаном, чтобы не брать от жизни того, что она дает, тем более, когда у тебя есть все внешние данные.

«Красота, моя милая, — любила порассуждать Мар-

го, — может и счастье, а может и несчастье женщине принести. Те, которые поумнее да повезучее, живут на нее как на проценты с капитала, а тебе вон видишь, как повезло с твоим Нугзаром... А была бы, скажем, уродиней — разве б позарился на тебя этот недоносок?» И Марине хотелось верить, что теперь она будет с теми, кто «поумнее да повезучее».

В ту пору в одной полузнакомой компании она и встретилась с Астамуром. «Он, — подумала вдруг, глядя на парнишку в спортивной курточке, — тот самый, что должен был войти в читальный зал библиотеки». Чем она сразу выделила его, отделила от остальных: тем, как хмурил тонкую бровь, с чем-то внутренне не соглашаясь, как оценивающе и пристально глядел исподлобья? Был он невысок ростом, худощав и при всем своем немногословии, чувствовалось, импульсивен. И еще: к нему как-то совершенно не пристали те пошлость и хамоватость, которые считались среди большинства окружавших Марину ребят вполне естественными и даже необходимыми в жизни. ...Интуиция подсказала ей, как вести себя в этот вечер: как говорить, как двигаться, как улыбаться. Видела, что и он ею заинтересовался.

Астамур учился на четвертом курсе в субтропическом и жил в Сухуми у двоюродного брата.

Во время первых их встреч Марина только и делала, что убеждала его: «Лучше нам сразу расстаться. Посмотри, разве мало вокруг хороших девушек? Зачем тебе разведенная? Нет, не хочу, чтобы твои родные всю жизнь на меня косились. Что делать, Астамур, у тебя своя судьба, у меня — своя». А глаза в это время упрямствовали: «Не верь моим словам, не оставляй меня...»

А Астамур и впрямь из-за нее голову потерял — так все вокруг говорили. Только одни радовались, глядя на

них: «Как вы смотрите вместе!..» — а другие... Никогда не забыть, как привел он ее на свой день рождения — так и стоит в ушах визгливый голос жены Алексея Георгиевича из-за неплотно прикрытой двери на кухню: «Дождались светлого дня... привел мальчик избранницу... Неужто во всей Абхазии уже порядочных не осталось?» Как жаром ее обдало. Выбежать бы, схватить мерзавку за волосы, исполосовать ногтями физиономию! Но сдержалась, во имя Астамура, во имя их любви сдержалась. И за столом вела себя так, будто ничего не случилось, — больше всех гостей разговаривала, громче всех смеялась.

Когда провожал ее Астамур, сразу увидела — что-то не то с ним. «Как, ты тогда сказала, у вас жилье будут через месяц распределять — «фамильярно»? Надо говорить «пофамильно». А фамильярно — это то, как ты сегодня со всеми разговаривала». Та, оставшаяся в далеком прошлом девчонка с городской окраины наверняка бы в слезы да в обиды — куда там! А эта — мудрая, все наперед знающая — только прильнула к нему: «Ругай, ругай меня, еще большего заслужила. Но я все буду знать, всему научусь, вот увидишь!»

Мучился, изводил себя мыслями Астамур — нетрудно было заметить это во время их встреч. И она будто слышала наверняка уже произнесенные кем-нибудь из его родственничков жестокие слова: «Нам не нужны объедки». «Низкие, бессердечные вы люди! — вступала она с ними в яростный мысленный разговор, и слезы были готовы брызнуть из глаз. — Что вам до его, до моей души! Лишь бы никто из знакомых не пожал недоуменно плечами — вот что для вас самое главное. А я, я в чем виновата? Можно было бы сказать: а о чем же думала, когда замуж выходила, где твои глаза были, но и в этом ведь меня не упрекнешь: не по своей

воле шла, как овечку в машину затолкали и повезли. А то, что модно одеваюсь, так это еще не значит «гулящая». Эх, если б вы знали, какой бы я была для вашего Астамура верной и преданной женой!»

Худенькая застенчивая мать Астамура — та уже нет, не ругаться с ней приехала, а уговаривать, на свою как бы сторону звать, в союзники вербовать: «Я ведь не против вашей дружбы, дружите, но ты нас тоже пойми... У Астамура сейчас такая ответственная пора... И тебе еще надо учиться. Ты совсем молоденькая, еще свое счастье найдешь. Помогни нам, а то ведь он никого слушать не хочет. Ну, хоть придумай что-нибудь: что другого парня встретила...» Как мертвая Марина тогда сидела: ножом бы ударили — капля крови не вытекла. Ответила, не поднимая глаз: «Я, конечно, вашему сыну не пара, но что делать, если он так не считает. Навязываться вашей семье не собираюсь, но и обманывать никого не буду».

«Астамур сам все должен решить, — так она подумала после этого разговора. — Не может же это вечно продолжаться».

И однажды она позвонила ему и сказала, что надо срочно встретиться, а приехал — выложила: так, мол, и так, ей сделали на днях предложение, и завтра она должна дать окончательный ответ. Если и преувеличила тогда, то совсем немного. Был действительно такой Вадим, друг Марго, так же, как Марина, разведенный и так же, как она, бездетный, с нежной ранней лысиной, очень добрый и очень нудный. Разговор на тему женитьбы он заводил с Мариной не раз, хотя никаких таких сроков, правда, не назначал. Видно, и на этот раз интуиция не подвела ее: и момент с настроением Астамура совпал, и интонацию — безысходности — выбрала подходящую. «На этой неделе заберу тебя, — ска-

зал, — и пусть они все полопаются». Кто «они все» — уточнять не стал, да и она не расспрашивала.

Так она впервые переступила порог этого дома. С шумом, пронзительно сигналя, подкатили с друзьями на двух машинах, Марина назло в этот день нарядилась так, как в жизни никогда не красилась, — пусть знают, что она не собирается играть роль забитой безропотной невестки из дальнего села. Из слов Астамура она еще раньше поняла, что за отца и мать он особенно не беспокоится: как скажет им, так в конце концов и будет — а вот бабушка... Если уж не понравишься ей, говорит, плохи дела. Но должна понравиться, ободрял, — нанду¹ всегда хорошего человека от плохого отличит.

Странно, но восьмидесятипятилетняя старуха и впрямь заправляла всем в доме — такой уж характер был. Когда Марина ее увидела, на нее будто холодом повеяло: в общем, сразу дала понять, что не слишком ей тут рады.

Чувствовалось, что в молодости старуха была красивой. Даже сейчас волосы были у нее почти до пояса, а в молодости, говорили, чтобы расчесать свою длинную каштановую косу, ей приходилось на стул становиться. На месте ей не сиделось: все по дому бродила, то за одно, то за другое бралась. «Отдохнули бы», — говорила иной раз Марина. «Ничего, — отмахивалась, — для меня лучший отдых — это хорошая работа».

Словно укоряла в чем ее, хотя Марина от работы не отлынивала, да и не белоручкой вроде выросла — в Очамчире у них тоже хозяйство было. Но на первых порах все почему-то валилось из рук, а Гунда не упускала случая задеть, насмешку соорудить. А тут еще Марго привезла несколько югославских кофточек про-

дать («в деревне с руками оторвут»), и свекор поднял шум: нечего, мол, в доме торговый склад устраивать. Марина и сама не рада была, что взялась за это дело, но из упрямства заспорила.

Вначале предполагалось, что они с Астамуром проживут в Гуме месяц-два, а потом снимут комнату в Сухуми. Однако Астамур не торопился с переездом — не хотел, чувствовала Марина, ее возвращения к прежним друзьям. А вскоре он закончил институт и начал работать в колхозе агрономом, так что необходимость переезда и вовсе отпала, во всяком случае, отодвинулась в неясную перспективу.

Усталость, напряжение в отношениях в семье, ссора из-за пустяка со старшей сестрой Астамура, а затем еще более глупая, но доведшая ее до слез размолвка с ним самим (ни с того ни с сего приревновал вдруг к соседнему парню) — все это вылилось однажды в то, что она села на рейсовый автобус и уехала в Сухуми с намерением никогда больше в этот дом не возвращаться. Устроилась на квартиру — так, чтобы никто даже из друзей не знал, где она живет, и начала уже работу приискивать, когда на третий или четвертый день к ней постучали — нет, не Астамур появился, на что она все же втайне рассчитывала, а нанду Гунда. Как она сумела ее разыскать — вообще была загадка.

— Вернись, нан, — начала упрямить. — Мой внук не знает, что я за тобой поехала, да и никто не знает. Скажи, что просто родственников решила навестить и задержалась... Грех это будет — вам разлучаться: вижу, как он мается, с ума сходит. Ты не обижайся на меня, старую, что сразу тебя не приняла.

«Э-э, нанду, — подумала тогда Марина, — змея много раз за жизнь может кожу сменить, но нрав свой — никогда». И все же вернулась — в самом деле ведь по-

¹ Бабушка.

нимала: не смогут они с Астамуром друг без друга.

А потом раз случайно услышала, как Гунда расхваливает ее во дворе перед соседкой. Смотрим, мол, на свою невестку и не нарадуемся: и красивая она у нас, и сердечная, и в хозяйстве проворная — так в руках все и горит. Ну, насчет проворства — это она, конечно, приувеличивала, да и понимала Марина, что не о ней сейчас заботятся, а о том, чтобы со стороны мир и благополучие в доме виделись, но все равно это ей было приятно.

Через несколько дней — сидели на веранде, кукурузную муку просеивали — завела с ней Марина откровенный разговор:

— Как же так, раньше ведь вы меня не хотели, а теперь вроде бы уже и неплохой невесткой для вас стала?

— А ты, нан, — ответила, — разве при виде любого встречного человека сразу разумеешь, что у него на душе? Когда сказали мне, окрутила, мол, твоего внука в городе такая-то и такая, я неделю глухая от горя ходила. Ребенок ведь он, все думала, ничего еще в жизни не видел. Да и ты в первые дни так себя держала, словно приехала — в золото нас посадила.

— Я? — растерялась Марина.

— Да, — кивнула Гунда. — Потом-то я поняла, что от ранимости это, от незащищенности твоей было. Сердце у тебя чистое, на добро отзывчивое. А это самое главное... Я уже постарела и не знаю: может, многое из того, что в прежние времена считалось правильным, нужным, и не вяжется с сегодняшним днем, но без доброты, без человечности людям никогда не прожить...

Так и стоит она сейчас перед глазами: седые пряди волос, стертые от работы руки, в которых мерно покачивается сито, и негромкий ее голос.

А как радовалась старушка, когда появился на свет Дамей — будто не было уже у нее до этого двенадцати внуков и одиннадцати правнуков!

В последнее время она уже плоха была, почти не вставала, и Марине с ней сидеть приходилось. Многое Гунда ей тогда рассказывала: о жизни своей, о людях. Да и Марина ей о себе...

Так что, раз признала она ее в конце концов, значит Марина — все же хороший человек?..

Он вышел из дому ранним утром. Родственники, у которых остановился, приехав вчера вечером, уже побывали накануне на плаканье и были достаточно догадливы, чтобы не набиваться в сопровождающие.

Утро — на удивление после вчерашней завирухи — выдалось ясным и солнечным. Тонко пел под ногами подтаивающий ледок на лужах, с отсыревших веток деревьев в садах у дороги время от времени срывались и падали на землю капли влаги, а солнце все выше и выше поднималось над прохладно-синей стеной предгорий. «Не пустить... Пусть только попробуют не пустить...» — пробормотал он, ступая еще крепкими ногами в азиатских сапогах по затвердевшей за ночь дорожной грязи. — Да и какие на то основания есть?»

Странно: никогда почему-то не думал о том, что Гунда раньше него уйдет. Не раз, бывало, возникало желание — сесть и приехать к ней, сказать: «Вот он я, видишь, как постарел, и не узнать, наверное...» — но всякий раз гнал эту мысль прочь: ни к чему это было, ни к чему хорошему. А тут — точно в груди все обожгло, когда узнал, и первой мыслью было: «Проститься, проститься же надо!.. В последний раз, перед смертью — и мой час недалек — увидеть ее лицо...» И только сейчас, шагая по этой пустынной гумской дороге, догадался:

раньше, мечтая ее увидеть, он в то же время смертельно боялся встретить ее взгляд.

... Когда вон там, за ореховой рощицей, шагах в трехстах отсюда, он встретил Гунду, шедшую с бельем от речки, тоже было утро. Дымилась роса на просторном лугу, заливался в кустах дрозд. Он перегородил ей дорогу, соскочил с коня:

— Доброе утро, красавица!

— И тебе, Хазарат, хорошего пожелаю.

Снова, как когда-то прямо в душу ему глянули лучистые солнца из-под черных ресниц.

— Давно хотел поговорить с тобой, несколько дней уже встречи ишу... Трудно мне было вынести нанесенную тобой обиду... Знаешь ли ты, что это я тогда подрезал подпруги у коня Сатбея? Ради любви к тебе всем рисковал...

— Знаю, все знаю, Хазарат.

— А ведь что мне когда-то стоило: подстеречь тебя, как сейчас, и унести, как ястреб перепелку! Ты ведь меня знаешь, а?

— Но и ты ведь меня знаешь, Хазарат. Знаешь, что дня бы после этого не прожила.

— Да что вспоминать... Забудем, все забудем. Знаю, что несладко тебе сейчас... Приходи сегодня, когда стемнеет, в лошину Хабуга. Придешь?

— Нет, — медленно покачала головой Гунда.

— Нет? — он в ярости сжал рукоятку камчи. — Значит, и увечный, полоумный, он тебе милее?

Она молчала, глядя в землю. И прерывающимся голосом он начал говорить слова, которые давно зрели в душе, хотя и не верил, что произнесет их:

— Пускай засмеют, ославят... Но не знаю я, чем этот огонь в душе погасить... Жену выгоню, если ко мне в дом придешь. Слышишь?

С какой болью глянула она:

— Умоляю, Хазарат, не продолжай.

Миг, показалось ему тогда, еще миг — и она склонит голову к нему на грудь.

Шагнул навстречу...

— Нет, — отшатнулась она. — Нет.

— Гунда... — бормотал он. — Не поверишь: до того обезумел, что подсматривал, когда ты с женщинами в лесу, в заводи купалась. Вот тут у тебя слева, на груди, родинка, правда?.. Эх, если б знала ты... Все для тебя сделаю, княгиней жить будешь.

Сами собой подогнулись ноги...

— Опомнись, — крикнула она, — ведь и меня и себя потом возненавидишь!

И он опомнился. И, поднявшись, вскочив на коня, два раза с силой ударил камчой: сперва по траве — на волосок от ее спины камча просвистела, потом по лошадиному крупу.

... Что же было главным в его жизни? Неужто эта нестерпимая сердечная боль, гложущая, гнетущая, вконец изводящая человека? Даже сейчас, когда дни тащатся, как волы по разбитой дороге, а жизнь давно превратилась в ожидание смерти... И почему именно ему выпало столько прожить?

... Дорога вывела к Аипсте. После недавних дождей волны вздулись, как мышцы натруженной руки. За рекой — могучие, суровые горы. Ему вспомнилось детство. Зеленая лужайка на том берегу реки, у подножия гор, и маленький светловолосый мальчик, с которым он сходится и сходится в борцовской схватке и каждый раз оказывается внизу, на земле. А пастух, сидящий на траве неподалеку, — в лохматой шапке и со стершимися в памяти лицом и именем — смеется и хлопает в ладоши:

— Ай, молодец, Сатбей!

А потом, когда этот мальчик наклоняется к воде с берега реки, он подкрадывается сзади и, испытывая необыкновенное чувство облегчения, толкает его в воду. И, испугавшись вдруг сам не меньше барахтающегося в воде мальчика, с плачем бежит за помощью к пастуху. А если б не побежал тогда?..

Как давно это было... и было ли вообще?..

А вот и тот самый дворик. Слава богу, пустой пока. Сейчас он пересечет его, поднимется по широкой каменной лестнице и, войдя в распахнутые настежь двери, увидит лицо той, что мучила его всю жизнь.

Витали Валериан-ица Шариа

АПԻՏՄԱ ԴԺԱ

Аповест

Урысшәалә

ვიტალი ვალერიანეს ძე შარია

აფხაზური ეპოსი

მოთხრობა

რუსულ ენაზე

Виталий Валерианович Шария

АБХАЗСКИЕ ЯБЛОКИ

Повесть

Рецензент Д. В. Зантария

ИБ 1069

Редактор А. А. Авидзба. Художник Л. Б. Гоноболина. Художественный редактор П. Г. Цквитария. Технический редактор Л. И. Евменов. Корректоры А. А. Мхитарян, Ж. И. Гублиа.

Сдано в производ. 11.05.1986 г. Подп. в печ. 29.05.1986 г. ЭИ 00607.

Формат 70 x 108¹/₃₂. Книжно-журн. бум. Гарнит. литерат.

Высок. печ. Физич. печ. л. 2,0. Усл. печ. л. 2,8. Усл. кр.-отт. 2,93.

Уч.-изд. л. 2,62 Зак. 3815. Тир. 1000. Цена 20 коп.

Издательство «Алашара», Сухуми, ул. Ленина, 9.

Сухумская типография им. Ленина Управления по делам издательств, полиграфии и книжной торговли при Совете Министров Абхазской АССР. Сухуми.
ул. Ленина, 6.

20 к.